

Максим Горький

Кладбище

В степном городе, где мне жилось очень скучно, всего лучше и красивее было кладбище, — я часто гулял на нем и однажды заснул в ложбине между двух могил, как в люльке, на густой и сочной, сладко пахучей траве.

Меня разбудили удары о землю близко моей головы; мягко отталкивая меня, земля вздрагивала, гудела, — я вскочил, сел, сон был крепок, и глаза, ослепленные его бездонной тьмою, не сразу поняли, в чем дело: в золотистом огне июньского солнца жутко качалось темное пятно, прильнув к серому кресту, а крест тихонько скрипел.

Потом — неприятно быстро — это сверкающее пятно приняло формы человека: держась рукою за крыло креста, стоял небольшой старичок, остролицый, с густым клочком серебряных волос под нижней губою и воинственно закрученными вверх толстыми белыми усами.

Вытянув руку в воздух и покачивая ею, он сосредоточенно бил каблуком в землю, искоса бросая на меня сухие взгляды темных глаз.

— Что такое?

— Змея, — ответил он барским баском и указал длинным пальцем с перстнем на нем под

ноги себе: на узкой тропе, прикрытой травой, вздрагивал маленький ужик, судорожно поводя хвостом.

— Это — уж, — сказал я сердито.

Старик отшвырнул носком сапога тускло блестящий жгут, приподнял соломенную шляпу и, шагая твердо, пошел прочь.

— Благодарю вас, — сказал я; он, не оборачиваясь, отозвался:

— Если это — уж, тогда опасности не было...

И быстро исчез среди памятников.

Я взглянул в небо, — было около пяти часов.

Вздыхал над могилами степной ветер, тихонько покачивая стебли трав; в теплом воздухе плыл шёлковый шелест берез, лип, ольхи и густых кустарников. В летнем шорохе кладбища слышна покорная грусть, — она вызывает какие-то особенно прямые и честные мысли о жизни, о людях.

Покрыв тяжелым шатром зелени холмы, белый и серый камень памятников, вытертые снегом, вымытые дождями кресты и решетки оград, — богатая растительность скрывает близость чумазого города, осыпанного черноземной пылью, жирной, как сажа, задерживает его мутный шум, пыль и злые запахи.

Шагаю по запутанным тропам среди бесчисленных могил, вижу сквозь просветы в

зеленом пологе золоченый крест колокольни, высоко и серьезно поднятый в небо над всеми крестами могил. У подножий памятников в ризе кладбища пестреют скромные цветы, — над ними хлопотливо жужжат пчелы, осы; в молитвенный шорох трав победоносно вторгается песня жизни, не мешая думать о смерти. Бесшумно перепархивают темные птицы, их полет всегда заставляет, вздрогнув, недоверчиво смотреть — птица ли?..

Всюду трепещет золотой огонь солнца, тесно заселенное кладбище как будто колышется, бугры могил напоминают море после бури, когда ветер упал и зеленая равнина его покрыта гладкими, без пены, волнами.

За оградой, в голубой пустоте, торчат, дымясь, трубы маслобоек и мыловаренных заводов, пятна крыш лежат разноцветными заплатами на темном рублище города, жмурятся на солнце всевидящие очи — слуховые окна чердаков. Сейчас же по ту сторону ограды лежит зеленая полоса скудного дерна, на нем качаются какие-то бедные, сухие стебли. Дальше — пожарище, черная полоса земли, усеянной горами закопченного мусора, рассыпавшихся печей, серой золы, угольной пыли. В небо разинулись черные вонючие ямы сгоревших погребов: мещане-домохозяева по ночам сливают в них — из экономии содержимое выгребных ям. Из

бурьяна торчат, лоснясь, большие головни, разноцветно блестит на солнце битое стекло и точно смеется. В двух местах этой черно-бурой площади, под полукольцом обнявшей кладбище, прорезались, как два зуба, новые, желтые постройки, — маленькие, жалкие среди мусора и густых зарослей лопуха, конского щавеля, свинцовой полыни.

Лениво бродят пестрые куры, похожие на торговков, а солидные рыжие петухи напоминают пожарных. В ямах подполий ютятся бездомные собаки с печальными глазами, в зарослях бурьяна чахлые, старые кошки подстерегают воробьев. Играл дети, — жалко видеть, как они прыгают по оскверненной земле и вдруг исчезают где-то в ее грязных морщинах.

А за пожарищем вытянулся длинный ряд дрянненьких, тесных домиков, они густо набиты скучными людьми, тупо и покорно вытаращили квадратные глаза на искрошенный, красный кирпич ограды кладбища и темную массу деревьев на нем. В одном из таких домиков я и живу, — моя крошечная конура пропитана запахом лампадного масла, и каждый вечер ко мне просачиваются благочестивые вздохи и возгласы домохозяина, Ираклия Вырубова, чиновника казенной палаты. Когда я смотрю из окна через мертвую полосу

сожженной и загаженной земли на кладбище, оно кажется прекрасным и ласково манит к себе.

Между могил, точно следя за мною, мелькает темная фигура старика, разбудившего меня, — его соломенная шляпа, сильно отражая солнце, качается среди крестов, как цветок подсолнечника. Я тоже слежу за ним и думаю об Ираклии Вырубове: неделю тому назад жена его — женщина тощая, злая, с длинным носом и зелеными кошачьими глазами-ушла пешком в Киев, на богомолье; он тотчас же привел откуда-то косоглазую толстую девицу и назвал ее мне двоюродной племянницей.

— Снятое имя — Евдокия, а я привык именовать — Диканька. Прошу любить, однако — предупреждаю — девица не допускающая...

Огромный, сутулый и бритый, как повар, Вырубов всегда озабоченно поддергивал штаны, сползающие с его живота, набитого, должно быть, арбузами. Его толстые губы жадно приоткрыты, в бесцветных глазах замерзло выражение неуголимого голода.

По вечерам я слышу:

— Диканька, поди-ка, почеси-ка мне спину...
Между крылец... О-о, во-от! Ишь ты, вырастила сколько...